Владислав Дрожащих. Терем дальний и высокий. — Пермь: «Пермский писатель», 2016

Не будем мелочиться. Перед нами целый том избранного, собрание девяти циклов стихов и четырех поэм. Поэт — обладатель интуиции, прорицатель, Шерлок Холмс слова и потому опасный человек. Поэтому так плохо живут поэты в системах, где есть что скрывать. А так как открытых систем в нашем текущем положении нет, то сделать

вывод нетрудно. Поэт — та часть человека, от которой невозможно что-либо утаить. Произведения через него проговаривают всё. Подводные течения, закрытые помещения, истории, выброшенные на свалку, предстают в них как на ладони. Поэт может даже не хотеть так проговариваться, «выбалтывать» правду, но он невольник выбравшего его занятия. Поэтому трудна и опасна дорога того, кто рождается поэтом. А тот, кто просто примерил наряд, приглянувшийся ему, сбросит его при первых же трудностях или всю жизнь будет таскать на себе, вынуждая притворяться. Из стихотворной лаборатории, из алхимии образа разворачиваются синтетические искусства, оживает кинопленка, происходят научные открытия.

Так что не будем мелочиться. Поэта будут отвлекать женщинами, наградами, алкоголем, притягательностью суицида, дохлым раем тихих мест, междусобойчиками, будут обнулять его темы, замалчивать его высказывания, желать ему развоплощения, сдачи хтоническому ужасу — а может, отступится? Но если он не поведется, то отступятся от него. А если поведется, то будет описывать рифмами и со смаком все отвлекающие маневры.

Вначале кровь Каменского вольется в жилы, как в стихотворении, датируемом 1976 годом:

«Я последний поэт
Вселенной:
во мне бешеная истома:
я вбираю в себя селенья —
заклеймят сумасшедшим
домом!..»

Перед вами я хохмой плоть
убил —
Чем же плакаться, голося?
Отпусти, золотая
оттепель,
Заморозь на чуток глаза.

«Убийство плоти»
произошло. На обострении,
на конфликте

ослепительно выживают —
где подснежники, где
подснежники?

Ослепительно выживать вознамерился поэт. Печататься в то время с такой стилистикой («Лоснятся аллеи, деревья — и дыбом / Вселенная сверху серебряным взрывом. / Распад миражей; но ты слышишь — ты жив? — / в ночи вечевой колокольный призыв») можно было только в самиздате. Так что не разрешение «сверху», а самопровозглашение становится причиной рождения поэтической жизни. Прервал «внешнюю и внутреннюю эмиграцию» призыв Андрея Вознесенского в 1991 году, и поэт вышел на открытую дорогу: в 1992-м выходят сразу две книги его стихов — «Блупон» и «Небовоскресенье».

Слышать колокольные призывы в глухом 1976-м обыкновенному человеку было довольно затруднительно. В 91-м их наконец расслышали или сделали вид, что расслышали, многие. А что же поэт? Обманный «Календарь» 2004–2014 начинается с «Неисчислимости»:

«Мнились мои печали,
мчались неисчислимо (...)

если воспеть зевоту
ангела после поимки,
можно услышать «Кто
там?» —
с той стороны пластинки;

звука целуя складки
и на своей постели
сонные отпечатки
ангела из колыбели (...)

Где вы, в каком начале,
По-птичьи неисчислимо,
Мчались, мои печали,
Неустрашимо мимо?»

Вот так, перескочив «Устричные строфы», которые вдохновляли бардов и знакомили нарождающиеся поколения с лимериками, продолжая «Русскую летаргию» и «Твердь», «я понял ангельский язык (...)». Владислав Дрожащих продолжает образовывать и преобразовывать внутреннюю тему. Но какова она, эта тема?

Девяностые — время языкового сарказма: «проходят иностранные валиды, / напоминая рехнутые виды / из фотокамеры — на г. Вальядолид, / Лазурный берег и прибрежный СПИД» («Год»). На усиление эффекта высказывания работают многие приемы: и лишение слова приставки, замыливающей глаз и слух на предмет смысла, и сокращение «г.» вместо «город», и контраст «картинки» желанного для невыездного советского гражданина берега с тем, что его там вполне ожидает.

«За прошлый месяц удались
надои северной
Атланты», —

время, когда газетный новояз уже сам себя спародировал.

«Здравствуйте, дорогие.
Пожалуйте в наш кандей»!

Кандей — это карцер, штрафной изолятор — то ли географическое, то ли временно́е понятие из стихотворения 1991 года «Шухер на переезде», а на соседней странице стихотворение, начинающееся так: «палачей играют палачи, палачей ругают палачи». Тема сталинских репрессий была поэтом осмыслена в более раннем стихотворении «Коба в детстве», а впереди — «Вторниковские княземешалки», «Конвой», «Павловск».

Павловск хоть и местный, пермский, но со своими непременными атрибутами — снежинками и ресницами, отлетающими то тут, то там по всей книге, как будто у глаза постоянно меняется оболочка, угол зрения, слезает змеиная кожа, регулярно нарастающая. Этот Павловск отсылает к Павловску, который построен императором Павлом — месту, где произошло одно из самых громких убийств в российской истории. Как следует из «княземешалок», процесс этот вневременной и внесословный, захватывающий и воронов, и ратников.

Фиксатор и локатор пространства оглядывается вокруг в 1997-м и видит, как

«Прометей прикован
к портвейну,
в заморозке Эсхил-
пэтэушник,
воробьиные гипертени
разгоняет психушник
топором, расщепляя запах
злой росы под луной высокой
в центре плахи и в центре
паха,
в центре Запада и Востока».

Что происходит на этой Земле, которая выглядит для наблюдателя как плаха, ярко освещенная светом Луны? Что происходит с той Землей, которая по наследству нам не досталась, «пока мы молчим при свете пылехранилищ лунных, Земля заплывает в сети…» — вроде бы неизбежное — но они «порванные, как струны».

Время дремлет, глядит
раскосо,
Осыпая труху с рейхстага,
Прикасаясь красноволосо
К обожженной груди еврея
(эскимоса своей обиды)
в зной, где водятся
пирамиды…

А «каждый озябший путник,
Лишая себя движенья,
Восхваляя земные путы,
Становится лучшей тенью

Человека, чей путь
в рассрочку,
С бесом — в нагой пустыне,
С херувимом — в ночной
сорочке,
С Одиссеем — на субмарине,
Пройден второй
тюрьмою…»

«Не сгустил я деготь ночи в кровавом веке обреченных» — переползает со строчки на строчку разговор от первого лица.

Рефреном через избранное идут строки про одиночество — «никому еще не бывало и в могиле так одиноко», «под копирку душа скулила: — Не бывало так одиноко!» Одиночество, неизбежное посреди раскачивающихся строчек, описывающих завладевший и землей, и живущими на ней хаос, переставало быть всепоглощающим, когда «тлело смутное покрывало», когда звезда, кажущаяся далекой, «улыбалась мне небывало».

«Солнце забито по глотку камнями» — Луна освещает место казни, Земля представляется плахой — звезда улыбается из неизвестного далёка, которое в другом стихотворении приобретает форму Терема, давшего на-

звание всей книги избранного. Впервые Терем появляется в книге стихов «Твердь» (1995–1998): «Он мнил себе: высокий терем / в далёкой бездне любит нас», приравненный к храму, в который войдет тот, «кто сеет, как подобает божеству, терпенье и любовь к терпенью». Терем — то, что за «курвицами-звездами», за «ясным месяцем, кровищей свищущим», за Солнцем, ходящим по кругу — за всеми «приманками», которые вносят сумятицу. А в книге «Календарь» (2004–2014) уже не «Он», а «Я» говорит, обращаясь к Терему: «Ты не думай обо мне». А кто остаётся с этим «я»?

«Ангел бездны,
прародитель,
Настигатель, восходитель,
Ангел бездны травяной,
Ты побудь, побудь со мной».

Так разрешается отношение к далекой перспективе, глядя на которую, поэт обнаруживал и «твердь» сверху, куда надо смотреть, подняв лицо, и расположенное в его топографии на Урале «рифейское лежбище пирамид». Если нет перспективы, то и опора под ногами оказывается призрачной, а не прозрачной, и строения выходят никуда не устремленными.

Что же за картина открывается после этого отказа? «Перекресток», «Южный крест», «Зачем», «По вагонам», «Воркута», «Яма» — это названия новых станций, остановок, которые все-таки возникают в «Календаре» после обнуления — как будто раскрученный конец света в календаре майя произошел и в поэтическом воображении, и за ним началась новая эпоха.

Ольга Роленгоф